

# ГРИГОРИЙ ТОЛСТОЙ И НЕКРАСОВ

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК»

Статья Корнея Чуковского

Ты, в котором чуть не гения  
Долго видели друзья,  
Рыцарь доброго стремления  
И беспутного житья.

Н. Некрасов

1

Существует рассказ о том, будто в 40-х годах минувшего столетия один русский степной помещик встретился в Париже с Карлом Марксом и так увлекся его революционной проповедью, что обещал ему тотчас же по приезде в Россию продать все свое имущество с тем, чтобы вырученные деньги пожертвовать на нужды европейской революции.

Об этом повествует в своих «Литературных воспоминаниях» критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков<sup>1</sup>. Из тех же «Литературных воспоминаний» мы знаем, что, вернувшись на родину, помещик и думать забыл о своих «горячих словах» и никаких денег на революцию не дал. Впрочем, Анненков не сомневается в том, что, заявляя о готовности «бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции», этот человек в ту минуту был искренен.

Установить фамилию этого человека было довольно легко, потому что она, как мы увидим ниже, неоднократно встречается в тогдашней переписке Маркса и Энгельса, равно как и некоторых других эмигрантов, проживавших в то время в Париже. Фамилия этого человека — Толстой.

Но что это был за Толстой, долго оставалось невыясненным, причем разнообразные догадки, высказывавшиеся по этому поводу, слишком уж далеко отклонялись от подлинных фактов.

Так, Марсель Гервег, редактор переписки своего отца, немецкого поэта Георга Гервега, печатая письмо Карла Маркса, где упоминается этот Толстой, объявил его Львом Николаевичем<sup>2</sup>, хотя Льву Николаевичу было в ту пору не больше семнадцати лет и он ни разу еще не выезжал за границу.

Другой исследователь, немецкий биограф Бакунина, «специалист по анархизму», доктор Макс Неттлау, высказал предположение — столь же беспочвенное, — будто речь идет о Дмитрие Толстом, впоследствии пресловутом министре народного просвещения и внутренних дел, хотя Дмитрий Толстой был в ту пору зеленым юнцом, только что сошедшим со школьной скамьи и чрезвычайно далеким от всякой политики.

Неизвестный редактор архивного наследия Анненкова, опубликованного лет через пять после смерти писателя, найдя в одном из документов упоминание о том же Толстом, окрестил его Феофилом Толстым, и этот

домысел был столь же неудачен<sup>3</sup>. Феофил Толстой, музыкант и писатель, близкий к придворным кругам, в качестве многолетнего соратника Фаддея Булгарина имел в ту пору слишком определенную репутацию воинствующего реакционера, и, конечно, никакие связи с революционными деятелями не были доступны ему.

Подлинного имени Толстого не установил и Евгений Ляцкий, редактор полного собрания писем Белинского. Белинский в одном из писем упоминает об этом самом Толстом, но Ляцкий, не узнав, что это был за Толстой, зарегистрировал его фамилию без имени-отчества<sup>4</sup>.

Впрочем, нашелся исследователь, занявшийся этим вопросом вплотную. После тщательных раскопок в зарубежных и русских архивах он пришел к убеждению, что это был Яков Николаевич Толстой, небезызвестный парижский агент русской политической полиции.

Проявив большую эрудицию, исследователь сочинил нечто вроде трактата о Якове Толстом, о его доносах и предательствах, а также о его провокаторских отношениях к Марксу. Но так как Яков Толстой здесь не при чем, то весь этот кропотливый труд являет собою сплошную фантастику.

В литературе о Марксе и Энгельсе эта ошибка держалась не меньше пятнадцати лет. Еще в 1926 г. вышла в Центральном архиве интересная книга «Революция 1848 г. во Франции»<sup>5</sup>, и в предисловии к ней повторяется та же легенда о личных сношениях этого чиновника тайной полиции с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом<sup>6</sup>.

Между тем, с первого же взгляда нетрудно заметить, что ни одной чертой своей личности Яков Толстой не похож на того «степного помещика», который фигурирует в воспоминаниях Анненкова. Яков Толстой был осторожный, замкнутый, уклончиво-корректный чиновник дубельтобенкендорфской школы; тот же Толстой, о котором мы сейчас говорим, был, судя по воспоминаниям Анненкова, человеком другой, прямо противоположной психологической складки.

И все же, когда я в 1928 г. в своем предисловии к «Воспоминаниям» Авдотьи Панаевой указал, что «степной помещик», встречавшийся с Марксом в Париже, был не Яков, а Григорий Толстой, человек в своем роде весьма примечательный, и что именно об этом Григории Толстом говорится в воспоминаниях Анненкова, мое утверждение было встречено с большим недоверием.

В «Летописях марксизма» появилась статья, где опровергали мое указание на Григория Толстого как пустую гипотезу, не подкрепленную фактами, и при этом выражали сожаление, что я не представил читателю никаких писем Григория Толстого, дабы «произвести экспертизу и путем их сравнения с имеющимся в оригинале письмом Толстого к Марксу доказать тождественность их почерков»<sup>7</sup>.

Писем я, действительно, никаких не представил, но, как мы ниже увидим, у меня имелось много других оснований, чтобы утверждать с абсолютной уверенностью, что парижским знакомым и собеседником Маркса и Энгельса был отнюдь не пресловутый полицейский агент Яков Николаевич Толстой, а владелец села Ново-Спасского, Лаишевского уезда, Казанской губернии, Григорий Михайлович Толстой, человек довольно популярный в тогдашних политических, писательских и светских кругах.

Ведь в литературе издавна известен один поступок Григория Михайловича, который во многих подробностях и во всей внутренней сущности так изумительно похож на описанный Анненковым поступок неведомого «степного помещика», что прямо-таки невозможно отказаться от мысли, что оба поступка совершены одним и тем же человеком.

## 2

Эпизод, о котором я сейчас говорю, входит в биографию Некрасова и до того характерен, что давно уже следовало бы возможно пристальнее всмотреться в него, тем более, что эпизод этот связан с одним из важнейших событий в истории нашей общественности — с основанием журнала «Современник».



КАРЛ МАРКС

Фотография 1860-х гг.

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Дело происходило в 1846 г. То был поворотный год в жизни молодого Некрасова, год его необыкновенных литературных и житейских удач. Именно в этом году Некрасов после долгих поисков, затянувшихся на многие годы, нашел, наконец, впервые свой собственный, некрасовский стиль, — глубоко народный, самобытный, вполне отвечавший демократическим требованиям нарождавшихся в ту пору в России широких читательских масс. Ему было 25 лет. Он только что написал «В дороге», «Огородника», «Псовую охоту», «Родину», «Тройку» — то-есть первые стихотворения, в которых послышался его подлинный голос, и сразу, в ка-

кие-нибудь несколько месяцев, он встал перед молодежью, перед Белинским и Герценом, как одна из центральных литературных фигур, призванных сказать в современной поэзии новое, еще неслыханное слово.

Еще в 1843—1844 гг. Белинский считал Некрасова «не более как полезным журнальным сотрудником», а в 1845 г., прочитав стихотворение «В дороге», он с восторженным удивлением говорит молодому писателю: «Да знаете ли вы, что вы — поэт, и поэт истинный»<sup>8</sup>.

В 1846 г. это удивление сменилось уверенностью; и можно смело сказать, что тот Некрасов, которого мы знаем теперь, Некрасов «Коробейников», «Мороза, Красного носа», «Кому на Руси жить хорошо», впервые сформировался именно тогда, в 1845—1846 гг.

Именно с этого времени Некрасов под могучим влиянием Белинского перестал сочинять водевили для «александрынских» подмостков, стряхнул с себя личины «Перепельского», «Пружинина», «Ивана Грибовникова» и осознал до конца свой будущий творческий путь. В биографии Некрасова 1845—1846 годы — это годы перелома и необычайного духовного роста. Характерно, что, издавая впоследствии собрания своих стихотворений, он выбрасывал оттуда решительно все, что было написано им до этой знаменательной даты.

Другая удача Некрасова, относящаяся к тем же переломным годам, заключалась в небывалом успехе его «Петербургского сборника». Он и раньше издавал не без успеха ходкие альманахи, брошюры и книги, но именно «Петербургский сборник», вышедший в свет 12 января 1846 г. с «Бедными людьми» Достоевского, стал выдающимся литературным событием. Успех его был, по выражению Белинского, «страшный»: «Только три книги на Руси шли так страшно, — сообщил он из Петербурга приятелю, — «Мертвые души», «Тарангас» и «Петербургский сборник»<sup>9</sup>.

Именно с этого времени вчерашний, как он сам говорил о себе, «литературный бродяга», сделавшись в несколько месяцев полноправным членом кружка Белинского, получил счастливую возможность объединить все, что было молодого и творческого в передовой литературе эпохи. Недаром Гоголь в том же 1846 г. назвал всю эту группу «н е к р а с о в ц а м и»: и Панаева, и Достоевского, и Герцена, и Тургенева. И теперь, когда все впервые уверовали в редакторский гений Некрасова, когда впервые окончательно выяснились его огромные возможности и как поэта, и как собирателя лучших сил передовой литературы, он не мог не подумать об осуществлении великого замысла — о создании боевого журнала, который под руководством Белинского, при участии Герцена, Тургенева, Гончарова, Григоровича, Боткина, Панаева, Дружинина, Анненкова, явился бы средоточием всего прогрессивного, что существовало в тогдашней России.

Он, действительно, был гениальным редактором. В нем чудесно совместились все качества, необходимые для того, чтобы в условиях царской цензуры создать столь могучие аккумуляторы передовой русской мысли, какими явились его «Современник» и «Отечественные Записки».

Оттого-то так легкомысленны те мемуары, где сообщается, будто мечта о журнале пришла к нему неожиданно, чуть ли не за чайным столом, или будто ему посоветовал какой-то добродушный помещик: «а почему бы вам не приняться за издание журнала?» Мысль о журнале — упорная, страстная — не могла не зародиться у Некрасова еще в 1845 г., когда он работал над созданием «Петербургского сборника». Не забудем, что именно к этому времени — к 1846 г., у него сформировались убеждения, которые сделали его единственным в тогдашней России великим революционным поэтом. У Булгарина были все основания в том же 1846 г. доносить о нем тайной полиции: «Некрасов — самый отчаянный коммунист:

стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском Альманахе, чтоб удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции».

Революционная настроенность Некрасова, его демократизм, ненависть к николаевской рабовладельческой монархии должны были определить и действительно определили программу журнала.

У Некрасова было все для осуществления его давнишнего замысла: им был заранее намечен великий идейный руководитель журнала — Белинский; у него была сплоченная группа высокодаровитых сотрудников, которые воплощали в себе все будущее русской литературы; у него была боевая программа — борьба с самодержавием, с крепостничеством; у него был обширный издательский опыт, какого не было ни у кого из писателей, окружавших Белинского; у него были налаженные связи с фабрикантами бумага и с типографами, и было бы противоестественно, если бы он не попытался использовать все эти богатые возможности.

Одного у него не было: денег. Конечно, и «Петербургский сборник» и две другие книги, которые он — тоже чрезвычайно удачно — издал и распродал вскоре после выхода «Петербургского сборника», принесли ему кое-какие доходы, но для издания журнала был нужен большой капитал.

И наиболее вероятным кажется мне предположение о том, что именно за денежными средствами для задуманного им общественно-литературного дела и отправился он в мае 1846 г. в казанскую глушь к тому самому Григорию Толстому, которого исследователи именовали то Дмитрием, то Львом, то Феофилом, то Яковом.

Из воспоминаний Валериана Панаева мы знаем, что еще осенью 1845 г. этот Григорий Толстой прямо из-за границы приехал на несколько недель в Петербург, где познакомился с юным Некрасовым, а также с Достоевским, Григоровичем и другими писателями, входившими тогда в кружок Белинского.

Знакомил его со всеми, конечно, Иван Панаев, с которым он незадолго до этого довольно близко сошелся в Париже.

Валериан Панаев вспоминает: «Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства. Это был <...> образованнейший человек и в полном смысле джентльмен как в жизни, так и по характеру и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей. Он только что приехал и жил некоторое время в Петербурге до отъезда своего в деревню Ново-Спасское, Казанской губернии, Лаишевского уезда, куда и пригласил на лето Ивана Ивановича с женой, а также Некрасова, для дивной охоты на дупелей, которые водились там в несметном количестве»<sup>10</sup>.

Некрасов и супруги Панаевы приняли его приглашение. Ехать им пришлось в экипажах — через всю Россию — из Петербурга в Казань. Вслед за воспоминаниями Валериана Панаева, исследователи не раз утверждали, будто Некрасов и в самом деле проехал все эти тысячи верст только для того, чтобы пострелять дупелей. Дело изображалось так, будто мысль о журнале и в голову не приходила ни ему, ни Панаеву, покуда они не приехали в гости к Толстому. Просто группа петербургских писателей совершила увеселительную прогулку в живописное имение богатого барина, и если бы хозяин по случайному поводу не заговорил с ними об издании журнала, у русской молодой демократии, пожалуй, и не было бы никогда «Современника».

Между тем, в мемуарной литературе есть указания на то, что еще до поездки к Толстому мысль об основании журнала была «заветной мечтой» Некрасова. По словам Авдотьи Панаевой, он так и заявил Григорию и Владимиру Толстым: «Я <в Петербурге> много рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту невозможно без денег»<sup>11</sup>.

В одной из своих предсмертных автобиографических записей Некрасов, упомянув о своей поездке к Толстому, без всяких обиняков указал ее цель: «Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами»<sup>12</sup>.

Самое слово «возбуждал» не оставляет сомнений, что инициатива в этом деле принадлежала Некрасову и что ему вовсе не требовалось ездить такую даль, чтобы ему подсказывали его же идею.

## 3

Поездка, играющая столь заметную роль в биографии Некрасова, останется для нас непонятной, покуда мы не дознаемся, что за человек был Григорий Толстой и каким он должен был показаться Некрасову, появившись в кружке Белинского осенью 1845 г.

До сих пор сведения о том периоде жизни Григория Толстого заимствовались почти исключительно из мемуаров Авдотьи Панаевой, где очень бегло и скупо рассказывается, что Григорий Толстой, проживая в Париже в 1845 г., часто встречался с Михаилом Бакуниным и проводил с ним почти все вечера в каких-то горячих беседах.

Между тем, существуют более подробные материалы о Григории Толстом — главным образом, об интересующем нас периоде его биографии.

Материалы эти, остающиеся до сих пор незамеченными, имеют, как мне кажется, немалую ценность: они объясняют нам, какие мотивы руководили Некрасовым, когда, затеяв журнал «Современник», он счел необходимым привлечь, в качестве одного из основателей этого радикального органа, именно Григория Толстого.

Укажу раньше всего на воспоминания немецкого историка и публициста Карла Теодора Фердинанда Грюна (1817—1887), того самого, с которым русский читатель знаком по ранней переписке Маркса и Энгельса и по их «Немецкой идеологии», где целая глава посвящена Карлу Грюну как представителю так называемого «истинного социализма»<sup>13</sup>.

Вспоминая о своем пребывании во Франции в 1845 г. (то-есть за полгода до встречи Некрасова с Григорием Толстым), Карл Грюн сообщает, что среди революционеров, с которыми он встречался в то время в Париже, русские казались ему революционнее всех, и при этом он называет Бакунина, а также «некоего графа Толстого», который был, очевидно, неразлучен с Бакуниным.

«Тогда все стремления были однородны, — пишет он. — Задача состояла в том, чтобы разрушить старое и на его место водворить нечто новое, великое — точно не знали, что именно. Русские радикалы, смелостью превосходившие всех других, импонировали особенно сынам великого царства середины <т. е. немцам>. Если эти русские шли так далеко, чего же не могли ждать мы, остальные? Однако наши личные отношения были весьма ограничены, прежде всего — вследствие полной противоположности нашего образа жизни. Бакунин и прочие русские — из них я припоминаю еще одного графа Толстого (Герцена же я никогда не видал, он жил тогда, кажется, в Женеве)<sup>14</sup> — все не занимались в сущности ничем, кроме чтения газет; они превращали ночь в день и день в ночь»<sup>15</sup>.

Этот отрывок из воспоминаний К. Грюна, написанных в 1876 г., давно уже напечатан в русском историческом журнале, но редакция журнала не заметила того обстоятельства, что «граф Толстой», которого Карл Грюн ставит рядом с Бакуниным и Герценом, и есть все тот же Григорий Толстой. Правда, Грюн ошибочно зовет его графом, но это обычная ошибка иностранца, пишущего о богатом русском барине. К тому же, он мог полагать, что у нас все Толстые — графы. Как бы то ни было, он запомнил

на всю свою жизнь, что в предреволюционном Париже, среди тех, кто стремился «разрушить старое и на его место водворить нечто новое великое», был какой-то Толстой, друг Бакунина, и что наряду с Бакуниным, наряду с другими русскими радикалами, жившими в то время в Париже, он смелостью своих революционных речей превосходил всех других «разрушителей старого». Что этот смелый радикал был именно

АВТОГРАФ ПИСЬМА МАРКСА К ГЕОРГУ ГЕРВЕГУ ОТ 26 ОКТЯБРЯ  
1847 г.

Маркс просит узнать через Бакунина, «каким путем по какому адресу и каким образом» он может отправить письмо Г. М. Толстому  
Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Григорий Толстой, косвенно подтверждается «Воспоминаниями» Авдотьи Панаевой, которая, рассказывая о своей заграничной поездке (в 1844 г.), сообщает, что Бакунин познакомил ее в Париже с казанскими помещиками братьями Толстыми и что она часто проводила вечера вместе с ними, слушая их горячие речи, то-есть речи Бакунина и братьев Толстых. Почему Панаева говорит о братьях Толстых, я не знаю; думаю, что Григорий находился там со своим двоюродным братом Владимиром, но Владимир Толстой был, должно быть, довольно бесцветной личностью потому, что другие источники даже не упоминают о нем<sup>16</sup>.

Могут возразить, что ни Карл Грюн, ни Авдотья Панаева не являются свидетелями вполне достоверными. Но, во-первых, оба они, не зная друг друга, утверждают одно и то же, а во-вторых, у нас есть еще одно показание, на этот раз незыблемо точное, не подлежащее ни малейшим сомнениям: подлинное письмо самого Михаила Бакунина, тоже до настоящего времени никем не замеченное. Это письмо не только подтверждает правильность мемуарной записи Грюна, но, к нашему удивлению, свидетельствует, что Григорий Толстой в то время был в глазах Бакунина самым пламенным из всех деятелей европейской демократии, каких Бакунин когда-либо встречал, а встречал он к тому времени и Георга Гервега, и Луи Блана, и Прудона, и Герцена, и Арнольда Руге, и Фохта, и Вейтлинга, не говоря уже о Марксе и Энгельсе. Это звучит неправдоподобно, но это документально доказанный факт: в зиму 1845—1846 гг. Бакунин был так очарован революционным максимализмом Григория Толстого, что ставил его выше двух величайших борцов за свободу, считая, вопреки очевидности, что Григорий Толстой — человек революционного действия, а они — лишь теоретики, приверженцы кабинетных доктрин.

Вот это письмо, где Бакунин с такой страстной восторженностью прославляет революционный энтузиазм Григория Толстого:

«Целую зиму <1844—1845> мы были здесь в Париже неразлучны, — сообщает он своему брату Павлу 29 марта 1845 г., — проводили целые дни вместе, и не прошло почти ни одного вечера, в котором бы мы, читая и разговаривая, курия сигаретки и запивая их чаем, не засиживались бы до трех часов ночи...

Мы слились духом и сердцем: у нас общая цель и общий путь, хотя и в разных краях и обстоятельствах. Я узнал после твоего отъезда множество людей в Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции, познакомился со многими и самыми замечательными демократическими знаменитостями, и могу тебя уверить, не знаю ни одного человека, который не был бы ниже его в демократическом отношении; я не знаю демократа, которого мог бы сравнить с ним, потому что то, что в других — слова, теории, системы, слабые предчувствия, то стало в нем жизнью, страстью, религией, делом!.. Милый Павел, встреча моя с ним в Париже для меня была великое счастье; я отогрел несколько очерствелую душу и окреп и возмужал и снова помолодел в любовных отношениях с ним...».

Таково было мнение Бакунина о Григории Толстом. Правда, Бакунин был человек увлекающийся, но если он провел с Григорием Толстым в «любовных отношениях» столько месяцев, если, наблюдая его изо дня в день, проводя в беседах с ним целые ночи, он пришел к убеждению, что Григорий Толстой — его ближайший собрат по революционной борьбе, значит, были в этом казанском помещике какие-то душевные качества, которые способствовали подобным иллюзиям.

Даже учитывая всегдашнюю склонность Бакунина к гиперболической фразе, мы не можем пренебречь сделанной им характеристикой Григория Толстого.

Ведь писал эти строки Бакунин первого периода революционной работы, полный еще неистраченных сил и воплотивший — как казалось тогда — в своей огромной фигуре «протестацию» многомиллионных народов против угнетавшего их деспотизма. Это был молодой Бакунин, веривший, что революция — завтра, и замечательно, что он считал Григория Толстого не только своим единомышленником, но и своим двойником, — искренно видел в нем второго Бакунина.

«Он <Григорий Толстой> через полгода или через год возвращается на святую Русь, — писал в том же письме Бакунин брату, — он отыщет



тебя, где бы ты ни был, и вполне заменит тебе меня, тем более, что можешь быть наперед уверен, что его слова, его чувства и его мысли будут вполне и без всякого ограничения также и мои слова, мои чувства и мои мысли. Вверься ему вполне, милый друг, я посылаю тебе в нем спасителя, который поможет тебе и словом и делом».

Это письмо внушено не мимолетным увлечением. Оно написано после долгого знакомства с Григорием Толстым. Печатая это письмо в своей книге «Годы странствий Михаила Бакунина»<sup>17</sup>, проф. А. А. Корнилов даже не сделал попытки узнать, кого изображает здесь знаменитый бунтарь как своего лучшего друга. Та глава, где приводится это письмо, названа Корниловым так: «Встреча с русским демократом в Париже осенью 1844 г.», и, насколько я знаю, до сих пор для исследователей остается неизвестным, что этот «русский демократ» и есть опять-таки Григорий Толстой.

Правда, в целях конспирации Бакунин нигде не называет его по фамилии, но, если бы даже не существовало воспоминаний Карла Грюна и Авдотьи Панаевой, можно без большого труда доказать, что все вышеприведенные дифирамбы Бакунина посвящены именно Григорию Толстому. Дело в том, что Бакунин называет «русского демократа» в одном месте своего письма «родственником Елизаветы Петровны», а единственной Елизаветой Петровной, которая в ту пору находилась в близких отношениях с Бакуниным, была Елизавета Петровна Языкова, замечательная русская женщина, старшая сестра декабриста Ивашева. В литературе о декабристах ее самоотверженная преданность пострадавшему брату пользуется почетной известностью<sup>18</sup>.

Елизавета Петровна жила в Дрездене с 1838 г. вместе с больным мужем, Петром Михайловичем Языковым, и младшей сестрой. У Елизаветы Петровны и поселился Бакунин по приезде в Дрезден осенью 1841 г. и здесь познакомился с Григорием Толстым, именно как с ее другом и родственником. Проф. А. А. Корнилов, должно быть, не знал, что деды Григория Михайловича Толстого и Елизаветы Петровны Языковой были родные братья и что девичья фамилия ее матери, генеральши Веры Ивашевой, была Толстая. «Грегуар Толстой», как его называли в семье Ивашевых, был в доме у Елизаветы Петровны Ивашевой на правах своего человека. Характерно, что в одном из писем Бакунина, вспомнив о семье Елизаветы Петровны, в тех же самых строках вспоминает и Григория Толстого:

«Поклонитесь от меня хорошенько Елизавете Петровне и всем барышням и Григорию Михайловичу»<sup>19</sup>.

С Елизаветой Языковой, как мы увидим ниже, Григория Толстого связывала давняя дружба. Так как из воспоминаний Карла Грюна и Авдотьи Панаевой мы знаем, что Бакунин в те годы был в близком общении с каким-то Толстым, и так как из всех Толстых, которые могли бы встречаться с Бакуниным в Дрездене в 1841 г. и в Париже в 1844—1845 гг., только Григорий Михайлович был «родственником Елизаветы Петровны» (Языковой), мы имеем основания утверждать, что восторженные строки Бакунина в письме к брату относятся именно к Григорию Толстому.

Из этого же письма мы видим, что Бакунин не сразу сошелся с Толстым. В Дрездене в 1841 г., когда они встречались у Елизаветы Языковой, их знакомство не стало дружбой. «Ты помнишь,— пишет своему брату Бакунин,— мы всегда уважали его (т. е. Григория Толстого) и признавали в нем благородную и богатую природу; но нам казалось тогда, что в нем есть недостаток энергии, мы упрекали его в отсутствии практического идеализма. Мы были чужды ему, несмотря на все уважение,

которое питали к нему. Он также смотрел на нас, и особенно на меня, несколько искоса. Теперь же наши отношения совершенно переменялись. Мы слились духом и сердцем»<sup>20</sup>.

Значит, любовь к этому человеку зародилась издавна и не была внезапным увлечением Бакунина, подобно многим его дружба́м и привязанностям.

К тому времени политическая экзальтация Бакунина уже дошла до крайнего предела, и, так как разрушение старого мира стало, в сущности, единственной темой всех его тогдашних писаний, разговоров, речей, нет никакого сомнения, что любимейшим его собеседником мог быть в ту пору лишь тот, кто вполне разделял его бунтарские мысли. Ведь не стал бы он излагать эти мысли в течение десятков ночей перед каким-нибудь безучастным филистером.

И если бы во время этих еженощных бесед Толстой ограничился ролью пассивного слушателя, Бакунин не называл бы Толстого обновителем его зачерствелой души, не подчеркивал бы, что это — человек революционного действия.

И разве стал бы Бакунин так уверенно называть Григория Толстого ближайшим своим другом и союзником, лучшим своим представителем на русской земле, если бы Григорий Толстой не высказывал изо дня в день те же максималистские взгляды, какие высказывал в ту пору Бакунин.

Не забудем, что дело происходило в Париже, в предгрозовую эпоху, за три года до февральских событий, в раскаленной добела эмигрантской среде, для которой революция была единственным содержанием жизни.

## 4

Знал ли Некрасов, отправляясь в село Ново-Спасское, что он едет к единомышленнику, идейному собрату Бакунина? Конечно, знал, потому что, во-первых, Авдотья Панаева во время своего пребывания в Париже многократно присутствовала при откровенных ночных разговорах Бакунина и братьев Толстых, и эти разговоры так поразили ее, что она и через сорок лет вспоминала о них, как об одной из достопримечательностей тогдашней парижской жизни.

Во-вторых, учитывая жгучий интерес Белинского к тому, что в те годы происходило в Париже, трудно представить себе, чтобы, приехав прямо из Парижа в Петербург осенью 1845 г. и очутившись в кружке Белинского в качестве лучшего друга Бакунина (о чем могли свидетельствовать те же Панаевы), трудно представить себе, чтобы Григорий Толстой, так близко стоявший к парижской эмигрантской среде, начитавшийся и «Трибюн», и «Националь», и «Попюлер», и «Реформ», вдоволь надышавшийся революционным воздухом великого города, не стал бы рассказывать в этом кружке о Феликсе Пиа, Кавеньяке, Ледрю Роллене, Жорж Санд, Викторе Гюго и других знаменитостях предреволюционной Франции, чьи имена звучали, как родные, для передовых русских людей той эпохи.

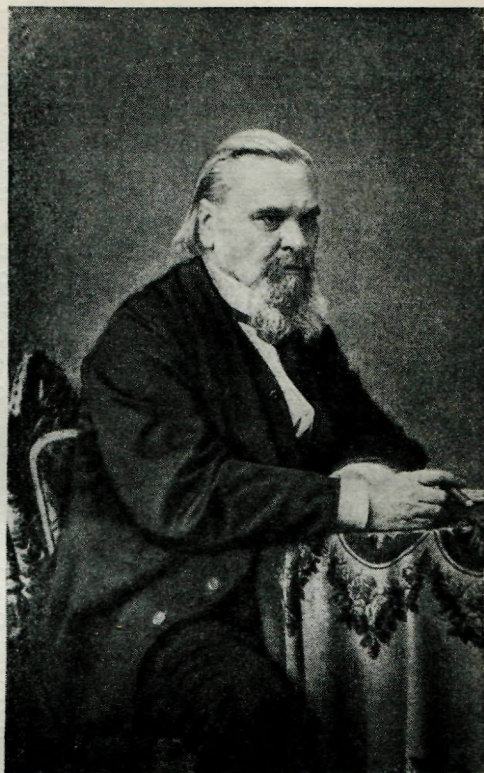
Высказывал ли он в кружке Белинского максималистские взгляды, которые так пленили Бакунина, мы, конечно, не знаем, но, несомненно, что в этом кружке у него прочно сложилась репутация человека передовых убеждений. Ниже мы видим, что не только Панаевы, но и Боткин и Анненков, то-есть наиболее влиятельные члены кружка Белинского, были свидетелями его парижского сближения с Бакуниным и другими революционными деятелями.

Едва ли под влиянием Бакунина сделался он анархистом. Но революционную страсть (хотя бы и на короткое время) Бакунин, несомненно,

Г. М. ТОЛСТОЙ

Фотография 1860-х г.

Собрание К. И. Чуковского, Москва



возбудил в нем, и Некрасову естественно было надеяться, что журналу, руководителем которого будет Белинский, охотнее всего окажет поддержку убежденный сторонник революционной борьбы, ближайший товарищ Бакунина. Не станет же давать деньги на радикальный журнал тот, кто не сочувствует его направлению. Здесь нужен был свой человек, человек той же партии; у Некрасова были все основания считать Толстого именно таким человеком. Этому способствовало и то обстоятельство, что всем была, конечно, известна его родственная и дружеская близость к декабристу Ивашеву.

Повторяю, Некрасов потому, главным образом, и обратился к Толстому, что Толстой был как бы одним из заочных членов кружка Белинского, другом Бакунина и прославленных европейских демократов, человеком передовых убеждений. Об этом сказал сам Некрасов в той самой автобиографической записи 1877 г., которая была упомянута выше. Здесь Некрасов именует Толстого своим приятелем и добавляет: «...он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом». Сдержанность этой характеристики понятна в ретроспективной оценке, отразившей разочарование Некрасова в последующем поведении Толстого, но все же здесь подтверждается даваемое нами объяснение причины, заставившей поэта обратиться именно к Григорию Толстому<sup>21</sup>.

Много лет спустя в газете «Волжский Вестник» была напечатана заметка П. Юшкова «Н. А. Некрасов в селе Спасском», и в этой заметке читаем: «Гостеприимный, умный, развитой и замечательно оригинальный человек был Григорий Михайлович. Человек хорошо образованный, богатый, изъездивший не раз Европу, Григорий Михайлович был сыном своего времени. Это был вполне человек сороковых годов, человек увлекающийся, страстный... Село Ново-Спасское, где жил Григорий Михайлович

во время приезда к нему гостей — Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, — большое, богатое село, раскинувшееся привольно и широко по оврагу речонки Курлянки, с большим густым садом. В то время Григорий Михайлович жил в деревянном флигеле, построенном у сада, с террасой, выходящей в сад. Тут-то, на этой террасе, в хорошие, ведренные дни, особенно по вечерам, часто сживали Некрасов, Панаев и Толстой — и тут-то было окончательно решено арендовать «Современник» у Плетнева. Далеко за полночь на этом балконе велась живая увлекательная речь о новом журнале, обдумывалась его программа, те улучшения, какие предполагалось ввести в него, и проч. При этом все трое давали друг другу слово работать для журнала и поддерживать его, кто чем может»<sup>22</sup>. (Отмечу кстати, что эта газетная вырезка сохранилась в бумагах Н. Г. Чернышевского, с его собственноручной отметкой: «Волжский Вестник» 1887, № 338, и ныне находится в саратовском доме-музее его имени, по инвентарю № 1038).

Юшков дважды упоминает об «увлекательной речи» и о «живых жарких беседах», которые Толстой вел со своими гостями, но оба раза эти «жаркие беседы», по его словам, были посвящены «Современнику». Думаю, что хотя новый журнал (его название, кстати, тогда еще не определилось, так как, находясь в имении у Толстого, Некрасов еще не знал, какой из двух-трех петербургских журналов ему удастся приобрести) должен был горячо интересовать всех четырех собеседников, все же он не был единственной темой их долгих деревенских разговоров. Человек, исколесивший Европу, проживший несколько лет в предреволюционном Париже, водивший знакомство и с декабристами, и с крупнейшими демократами и социалистами Запада, многое мог рассказать заезжим петербургским литераторам. И трудно представить себе, чтобы Григорий Толстой, только что переживший горячее увлечение идеями Маркса, не рассказывал петербургским гостям, представителям радикальной общественной мысли, близким друзьям Белинского, о своих парижских встречах с Марксом и не поведал бы о своих великодушных намерениях продать Ново-Спасское, дабы истратить вырученные деньги на улучшение благосостояния своих крепостных и на другие мероприятия подобного рода.

В числе этих других мероприятий было, очевидно, и предоставление группе Белинского средств на создание боевого демократического журнала.

Из тех документов, которые мы печатаем ниже, мы знаем, что Григорий Толстой отнесся к планам Некрасова с живейшим сочувствием, изъявляя полную готовность отдать этому делу и силы, и средства. Недаром Анненков назвал его в своих воспоминаниях «пылким», а Юшков «увлекающимся»: тот «практический идеализм», который открыл в этом человеке Бакунин, оказался на первых порах действительно горяч и активен. Ради нового журнала Толстой был готов принести большие материальные жертвы. И можно ли сомневаться, что в его тогдашнем сознании эти жертвы были одной из форм той новой общественно-политической деятельности, о которой еще так недавно он с энтузиазмом говорил Карлу Марксу. И не потому ли Некрасов после этих разговоров с Толстым так уверился в полную реальность его обещаний, что ему, как и Марксу, Толстой заявил о своем твердом намерении продать все свои «степные имения».

Вскоре в литературных кругах стала известна и сумма, которую вносит Толстой в «Современник». Первоначальный фонд «Современника» должен был состоять из 25 000 Панаева и 25 000 Толстого<sup>23</sup>.

Эти деньги нужны были Некрасову возможно скорее. Нужно было затратить немалые суммы не только на приобретение писательских рукописей, не только на широкую рекламу, еще не виданную в истории русского журнального дела, но и на изрядное количество замаскированных

Mon cher ami

Je vous recommande M<sup>r</sup> Annen-  
koff. C'est un homme qui  
sait vous plaire sous tous les  
rapports. Il suffit de le voir  
pour l'aimer.

Il vous parlera de moi.  
Il m'est impossible de vous  
dire tout ce que je voudrais

car dans quelques minutes  
je pars pour Petersbourg. —

Soyez persuadé que l'amitié  
que je vous porte est bien  
sincère. — Adieu si vous le voulez

Votre véritable ami:

Tolstoy.

АВТОГРАФ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА К МАРКСУ, ПОЛУЧЕННОГО  
П. В. АННЕНКОВЫМ ОТ Г. М. ТОЛСТОГО в 1846 г.

С этим письмом Анненков явился к Марксу в Брюссель  
Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

взяток; на уплату «гонорара» подставному редактору, цензору А. В. Никитенко, на выдачу аванса владельцу «Современника» П. А. Плетневу, получившему в первый же год 5850 руб. ассигнациями за одно лишь название журнала<sup>24</sup>.

Деньги с каждым днем были все более нужны, но Григорий Толстой не прислал ни гроша. Для Некрасова это было тяжелым ударом. Было поставлено под угрозу самое существование «Современника». Не получая обещанных денег, Некрасов в минуту крайности попросил Григория Толстого выслать хотя бы «только 7 или 5 тысяч ассигнациями», то-есть нечто весьма незначительное по сравнению с той суммой, которая была обещана ему в Ново-Спасском. Но Толстой остался глух и к этой просьбе. Наконец, когда настоятельная потребность в деньгах миновала и Некрасову путем величайших усилий удалось наладить издание журнала, Толстой прислал ему не деньги, а вексель, который было почти невозможно учесть. Причем векселю предшествовало письмо, заключавшее в себе странный совет уладить все дело так, чтобы можно было обойтись и без векселя.

Оскорбленный Некрасов отослал этот вексель обратно и написал Толстому такое письмо (оно сохранилось лишь в черновике):

«Вы, казалось, так хорошо понимали важность в этом деле своевременного получения денег на журнал. Вы так ручались за себя, а Ваши уверения казались мне такими дельными и несомненными, что я скорее боялся не получить денег от Панаева, чем от Вас. Помню, что эту боязнь и Вы со мной разделяли. Что же вышло! Деньги от Панаева я давно получил и истратил, а от Вас — после двух писем моих к Вам, в которых настоятельную надобность в деньгах я доказывал цифрами — вдруг получил заемное письмо в 12 500 рублей ассигнациями, то-есть половину обещанной Вами суммы».

В сущности, это было и не «половина обещанной суммы», так как из дальнейших строк того же письма выясняется, что добыть в Петербурге деньги под залог этого толстовского векселя было почти невозможно.

Но, может быть, Толстой не то чтобы не хотел, а не мог выполнить свое обещание? Может быть, у него в это время не случилось свободной личности?

В том-то и дело, что деньги у него все же были, и он, если бы захотел, мог прислать их Некрасову.

«...Вы имели возможность внести деньги, — пишет ему в дальнейших строках того же письма Некрасов. — Доказательство: Ваши собственные письма, в которых Вы уведомляли, что приступаете к хлебной торговле, и деньги, бывшие у Вас, употребили на закупку хлеба».

Значит, Григорий Толстой уже настолько охладел к недавнему своему увлечению, что предпочел имевшиеся у него наличные деньги вложить в привычную дворянскую коммерцию — скупку и перепродажу зерна. Замечательно, что при этом он не проявил даже свойственного ему «джентльменства»: на два настоятельных письма Некрасова он не ответил, а перед тем, как прислать ему вексель, поручил какому-то Петру Андреевичу написать Авдотье Панаевой, чтобы она посоветовала Некрасову обойтись без обещанных денег.

Это особенно оскорбило Некрасова.

«Мало того, — пишет он, — даже присылке самого векселя предшествовало письмо Петра Андреевича (к Авдотье Яковлевне), в котором было сказано, что вексель Вы пришлете, и мы должны постараться занять под него, а, впрочем, нельзя ли как-нибудь извернуться, всего бы лучше».

Что это значит? Я долго думал. Если Вы хотите, чтобы мы извернулись без Вашего векселя, то на что же было посылать его... А если мы,

получив, должны были держать его без употребления, то в чем же заключалось бы участие Ваше в издержках на журнал. Да и, во всяком случае, оно не могло быть действительно, ибо при основании журнала мне, как я Вам писал, настоятельно нужны были деньги, а не вексель...

Итак, надежда моя на денежное содействие Ваше при основании журнала оказалась ошибочной. Вашего содействия не было, и журнал основан средствами Панаева и некоторыми другими, к которым я должен был прибегнуть. Препровождаю Вам обратно Ваш вексель».

В заключение письма Некрасов извещал Толстого, что не считает его больше участником-компаньоном «Современника»: «Если предполагаемое участие Ваше в этом предприятии не состоялось, то, конечно, вина не моя и не Панаевых. Что касается до Панаевых, то я объяснился с ними и сказал, что если они со мной не согласны, то я от всего отказываюсь и отступаюсь. Они предоставили это, как все дела по журналу, моему распоряжению»...<sup>25</sup>.

Вот каким оказался при первом же столкновении с действительностью боевой идеализм этого «апостола свободы», в котором Бакунин в ту самую пору видел своего собрата по революционной борьбе, веря, что служение революции было для него «жизнью, страстью, религией, делом».

И об этом человеке Бакунин писал незадолго до того своему брату: «Он возвратит тебе и жар и свежесть юношеского стремления, разрушит в тебе отвратительную мудрость преждевременной старости и снова зажжет в сердце твоем веру в то, что в окружающем тебя мире называют невозможным (то-есть в русскую революцию), и страсть к отважным предприятиям»<sup>26</sup>.

Некрасов после этого случая прервал с ним отношения навсегда. По крайней мере, во всей известной нам переписке Некрасова имя Григория Толстого больше не упоминается ни разу.

## 5

И все же у нас есть свидетельство, что через несколько лет Некрасов отнесся к Григорию Толстому куда снисходительнее и попытался, уже без всякого гнева, объяснить его неприглядный поступок общими условиями русского быта.

Свидетельством этим является роман Некрасова «Три страны света», который, через два года после поездки в село Ново-Спасское, он писал совместно с Авдотьей Панаевой.

Роман «Три страны света» писался, как известно, поневоле. Грозная цензура 1848 г. вырезала все шесть повестей, находившихся в портфеле «Современника», и Некрасов был вынужден возможно скорее изготовить такой материал, который в течение долгого времени мог бы печататься в журнале из месяца в месяц и был бы забронирован от цензуры.

Других целей у Некрасова не было, когда он совместно с Авдотьей Панаевой засел за этот громоздкий роман. Сам он не признавал в нем художественно-литературных достоинств. «Если увидите мой роман, — писал он Тургеневу в декабре 1848 г., — не судите его так строго. Он писан с тем и так, чтобы было что печатать в журнале — вот единственная причина, породившая его»<sup>27</sup>.

Но роман оказался лучше, чем думал о нем Некрасов. Не мог такой могучий поэт, в первые же годы своей поэтической зрелости, совершенно отвлечься от волновавших его чувств и мыслей и превратиться в простого ремесленника, хотя бы его и побуждали к тому обстоятельства его журнальной работы. Несмотря на принадлежность романа к жанру развлекательного чтения, многие встречающиеся в нем мысли и образы перекликаются с основными мотивами таких стихотворений Некрасова,

в которых поэт выражает задушевнейшие свои убеждения<sup>28</sup>. И нет ничего удивительного, что в трактовке образа Григория Толстого наметилась, — правда, еще в зачаточной форме, — одна заветная идея молодого поэта, которая через несколько лет нашла более рельефное свое воплощение в его лучших стихах и поэмах.

По моему убеждению, Григорий Михайлович Толстой выведен в романе под именем Григория Матвеевича Данкова. Наружность Данкова изображается Некрасовым так:

«...Данкову было лет тридцать пять. Высокий, плечистый, с довольно полным выразительным лицом... с манерами, которых размашистую резкость облагораживала изящная простота, он представлял собою совершеннейший тип русского красивого молодца»<sup>29</sup>.

Здесь полное портретное сходство с наружностью Григория Толстого. В то время, когда Некрасов гостил в Ново-Спасском, Толстому и в самом деле было «лет тридцать пять», так как родился он в 1808 г.

Валерьян Панаев, вспоминая об одной своей встрече с Григорием Толстым, раньше всего отмечает его высокий рост и красоту:

«Он был хорош собой и прекрасного роста», — говорит о нем мемуарист<sup>30</sup>.

«Во мне роста два аршина 8 вершков», — сообщает о себе сам Григорий Толстой в одной мемуарной заметке<sup>31</sup>.

Мне неизвестны портреты Григория Толстого, относящиеся к годам его молодости, но, судя по его стариковскому фотопортрету, который подарен мне его правнучкой, это был действительно высокий, осанистый, широкоплечий мужчина с выразительным, красивым и очень русским лицом.

Но не только наружность новоспасского барина воспроизвел в своем романе поэт. Он тут же в трех строчках наметил тогдашние вехи его биографии.

В романе мы читаем о Данкове:

«Один богатый помещик той губернии, весьма умный и образованный, живший то в Москве, то в Петербурге, то в Париже, вздумал, наконец, пожить в своей губернии с самой благой целью»<sup>32</sup>.

Здесь каждое слово — о Григории Толстом.

Григорий Толстой был, действительно, одним из самых богатых и образованных помещиков заволжского края. Правда, Некрасов дважды называет его не казанским, но «с — ским» помещиком, однако это не противоречит фактическим данным, потому что Григорий Толстой, как мы ниже увидим, всеми своими корнями был связан именно с Симбирской губернией.

Из разных мемуарных источников мы знаем, что в 1842 г. жил он в Москве, в 1844 и в 1845 гг. — в Париже и в Петербурге, а в 1846 г. поселился у себя в Ново-Спасском с намерением остаться там подольше или, говоря словами Некрасова, «пожить в своей губернии с самой благой целью».

В романе из-за цензурных стеснений Некрасов лишь обиняками указывает, в чем эта «благой цель» заключалась. Но в «Воспоминаниях» Авдотьи Панаевой, гостившей в Ново-Спасском в то же самое время, подцензурные намеки Некрасова расшифровываются с полной ясностью. Оказывается, Григорий Толстой, после долгих странствий по Европе, поселился в деревне затем, чтобы облегчить, по возможности, жизнь многочисленных своих крепостных. Вместе с каким-то родственником (может быть, с братом Владимиром) он, по словам Панаевой, устроил в своем имении школу для крестьянских детей, лично оказывал крестьянам медицинскую помощь, уничтожил барщину и проч., — словом, обнаружил так много гуманных стремлений, что вызвал будто бы негодование соседей-помещиков.



«В наше время,— говорит в романе Григорий Данков, — стыдно ничего не делать... Я довольно постраниствовал по свету, теперь хочу работать, работать, приносить пользу обществу».

На подцензурном языке того времени это означало, что богатый и образованный барин хочет отдать все силы облегчению участи своих крепостных.

Очевидно, либеральные новшества, которыми он так эффектно щегольнул перед приехавшими из столицы молодыми писателями, были представлены им в виде первоначальных шагов на пути к улучшению крестьянского быта. Из романа Некрасова явствует, что в качестве программы ближайшего будущего этот alter ego Бакунина намечал более широкие и смелые планы.

«Когда,— пишет Некрасов,— тряхнув своими длинными кудрями, остриженными в кружок, он энергически ударял кулаком по столу и заводил речь о той жажде благородной деятельности, которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван действовать, и сделает много хорошего».

Но, конечно, все это оказалось таким же бахвальством, как и те обещания, которые дал он Некрасову по поводу его «Современника». Через несколько страниц Некрасов пишет, что Каютин «сначала удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои остроумные и общепользные планы, о которых прекрасно и с таким жаром говорил. Но когда поближе присмотрелся к делу, когда сам пожил этой жизнью, удивление его кончилось»<sup>33</sup>.

Последняя фраза производит впечатление скомканной. По цензурным условиям 1848—1849 гг. выразить резче свое осуждение этому разладу между словом и делом автор, конечно, не мог. Но отчетливым комментарием к данному отрывку романа являются, как уже сказано, стихотворения Некрасова, где несколько раз та же самая тема выражалась гораздо яснее.

Возьмем хотя бы только что процитированный нами отрывок из речи Григория Данкова. Ведь это — слово в слово то самое, что говорит в поэме Некрасова «Саша» вернувшийся из-за границы Агарин:

Бил,— говорит,— я довольно баклуши...  
Благословите на дело... пора!

Слово «дело» занимает в поэзии Некрасова почетное место. Для Некрасова это — священное слово, и он всегда с особым уважением произносит его:

Вы еще не в могиле, вы живы,  
Но для дела вы мертвы давно...

В его стихах выведена целая вереница людей, которые, при высоком благородстве своих убеждений, никогда не воплощают их в дело. Тот же самый Агарин —

Если ж за дело возьмется,— беда!  
Мир виноват в неудаче тогда.

И в черновике Некрасова об Агарине (когда он еще назывался Чужбинным) сказано:

Он по природе своей благороден,  
Только заносчив и к делу негоден.

Проклятие высоким словам, которые не стали делами,— один из центральных мотивов некрасовской лирики на протяжении всей жизни

поэта. В том самом году, когда была написана «Саша», он снова повторил эту тему в стихах, начинающихся такими строками:

Самодовольных болтунов,  
Охотников до споров модных,  
Где много благородных слов,  
А дел не видно благородных,  
Ты откровенно презирал.

В «Поэте и гражданине» клеймит он «богатых словом, делом бедных», и вообще примат действия, антитеза благородного слова и благородного дела — такова была насущная тема наступавшей эпохи — 40-х и 50-х годов. Достаточно вспомнить о тургеневском Рудине. «Тип был один, оттенков было много», — так выразился Некрасов впоследствии. Образ Данкова в «Трех странах света» есть, насколько я знаю, наиболее ранняя литературная экспозиция этого типа. Данков у Некрасова для того-то и твердит с таким упорством: «работать, работать, приносить пользу обществу!», — и сам Некрасов (в коротком отрывке о нем) для того и повторяет слова: «деятельность», «действовать», «сделает», чтобы читатель яснее увидел из дальнейшего текста, что за всеми благородными фразами красноречивого барина скрывается полное отсутствие благородных поступков. К разным «оттенкам» этого типа Некрасов, как известно, относился по-разному:

Шалит землевладелец крупный,  
Морочит модной маской свет<sup>34</sup>,

— презрительно сказал он об одной категории этих людей, но о той, в которую он включил и Данкова, он отзывался иначе, с какой-то пренебрежительной жалостью, и постоянно указывал на нравственную чистоту их неосуществленных стремлений:

Ты стоял перед отчиною  
Честен мыслью, сердцем чист...  
.....  
.....Известен он достаточно: его  
Прозвал Тургенев «лишним». По натуре  
Он честен был, но был большой лентяй...  
.....  
Как он был чист, как он далеко видел,  
Как честно, хоть бесплодно, ненавидел,  
И шапку перед ним готов я снять...

— говорил поэт в одном из черновых вариантов «Медвежьей охоты».

Впоследствии он не раз повторял, что эти люди сеют «все-таки доброе семя», что «мы должны добром их помянуть», этих «рыцарей доброго стремления и беспутного житья», что разрыв между словом и делом есть не вина, а беда всех этих Агариных, Данковых, Решетиловых, Чужбинных, Пальцовых, так как та историческая обстановка, в которой они принуждены были жить, обрекала их на полное бездействие, выбросив их за борт общественной жизни.

В затуманенном, по цензурным условиям, отрывке о Григории Данкове эта мысль, как мы только что видели, изложена Некрасовым так: Каютин сперва удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои общепользные планы, но «когда сам присмотрелся к делу, сам пожил этой жизнью», перестал удивляться, то-есть понял, что в русском быту существует ряд вполне объективных причин для того, чтобы Данковы, при всей своей честности, всегда до конца своих дней оставались пустыми фразерами, не воплотившими в дело своих благородных намерений.

## 6

Таков был художнический метод Некрасова. Отбросив все случайное и личное, он обобщил свои впечатления от встречи с Григорием Толстым и с необыкновенной зоркостью разглядел в нем еще не определившийся общественный тип.

И чем пристальнее мы вникаем в те скудные, бессвязные клочки и обрывки биографии Григория Толстого, которые дошли до нас в немногих мемуарах и письмах, тем больше убеждаемся, что, определив его



П. В. АННЕНКОВ

Акварель А. А. Попова, 1853 г.

Институт литературы АН СССР, Ленинград

как одну из разновидностей Рудина (чуть ли не за десять лет до появления тургеневской повести), Некрасов (в который раз!) обнаружил свою непревзойденную способность схватывать раньше других самую суть социальных явлений, едва намечавшихся в тогдашней России.

Духовная биография Григория Толстого, действительно, очень типична для так называемых «лишних людей».

Как и большинство представителей этого типа, он был человеком высокой европейской культуры. Мы не стали бы подчеркивать в нем это качество, если бы в литературе не существовало попытки представить его темным, захолустным помещиком чрезвычайно низкого культурного уровня.

Между тем, каждый встречавшийся с ним указывает раньше всего именно на его образованность. Очевидно, она каждому бросалась в глаза. И Юшков, и Валериан Панаев, и Авдотья Панаева однообразно повторяют друг за другом, едва только назовут его имя: «человек широко образованный», «образованнейший человек» и т. д.

Некрасов в своем романе наделяет его тем же эпитетом: «богатый помещик, весьма умный и образованный...».

И не только в столицах, но и в деревенской глуши, в Казанской и Симбирской губерниях, он вращался среди наиболее культурных слоев тамошнего дворянского общества.

«Дворянство симбирское, — говорит в своих «Записках» В. А. Соллогуб, — считалось образованным, влиятельным и богатым. Здесь я услышал впервые имена Ивашевых, Тургеневых, Бестужевых, Ермоловых, Столыпиных, Кротковых, Киндяковых, Татариновых и многих других. Между ними были люди замечательно просвещенные, но встречались также и оригиналы или, скорее, самодуры большой руки»<sup>35</sup>.

Хотя имение Толстого находилось в Казанской губернии, но сам он по всем своим семейным и дружеским связям принадлежал именно к тому кругу симбирского общества, которое, по словам Соллогуба, славилось своей образованностью и включало в себя «замечательно просвещенных людей». Многие из перечисленных Соллогубом помещиков были близкими родственниками Григория Толстого.

Вообще мы ничего не поймем в этом человеке, если искусственно вырвем его из этой среды, где он сформировался и вырос. То был вершущий слой богатого поместного дворянства, в недрах которого за несколько лет до того созрели декабристские убеждения и верования. Во время декабрьского восстания Григорию Толстому шел уже восемнадцатый год, и это не случайность, что среди его близких родных, с которыми он рос и воспитывался, было так много людей, связанных с идеологией декабризма. Ивашевы и Завалишины — в кругу этих замечательных русских семейств прошли его детство и юность. Особенно тесно он был связан с Ивашевыми. Ивашевы заменили ему родную семью<sup>36</sup>.

Единственное «дело», которое он совершил за всю свою долгую жизнь, связано с семейством Ивашевых. Я говорю о его тайной поездке в Туринск к декабристу Василию Петровичу в 1838 г., тотчас же после смерти генерала Ивашева, отца декабриста. Правда, никакой отчаянной смелости для этого ему не потребовалось, ибо он предпринял поездку после того, как ее благополучно совершили другие: годом раньше предприимчивый «Пьер Зиновьев», пламенный друг Елизаветы Петровны, успел дважды побывать у декабриста Ивашева — сначала один, а потом — вместе с нею, причем, как рассказывают, она во все время пути выдавала себя за мужчину. Елизавета Петровна гостила у своего ссыльного брата целых две недели, при явном попустительстве местных властей, несомненно подкупленных щедрыми взятками. Но хотя Григорий Толстой съездил к декабристу по проторенной дороге, когда убедился, что риску здесь не так уж много, все же он проявил при этом несомненное мужество и не без гордости до конца своих дней вспоминал об этом путешествии. Единственное его литературное произведение, известное нам до настоящего времени, так и озаглавлено: «Поездка в Туринск к декабристу Ивашеву»<sup>37</sup>.

Всякий, кто даст себе труд отыскать этот рассказ в «Русской Старине», согласится со мною, что у Григория Толстого был несомненный талант беллетриста. Должно быть, его вообще тянуло к писательству: Бакунин в одном из своих писем вспоминает какое-то юмористическое произведение Григория Толстого, написанное в Дрездене в 1841 г.<sup>38</sup>.

Mon cher Monsieur

de vous d'arriver les Etats et  
par tenir votre lettre à mon domicile  
Tolstoy, dont on parle à l'Allemagne  
L., est tout autre de lui personnel,  
que mes compliments et va de com-  
mune avec elle que le nom de Tolstoy  
Ne la Gazette est vous, tellement un  
agent russe, remanié tout de Solzgeny,  
Golovin et de tout d'autre, muni d'  
avoir de la police russe et qui est  
tout autant mépris, le cas, de ceux  
qu'il est que de ceux qu'il déçoit  
M. a peu part à l'immigration  
russe de 1825, est infirmité  
la Russie et emigré, et emigré pour  
de faire passer à son gouvernement  
avec tout autre page à l'émigré

le plus par ses ambitions et à  
plus est de ceux... Mon cher!  
Et ma tâche, simple, de Tolstoy,  
qui ne peut à peine en Russie,  
on est, que de se défaire de  
tout ses biens pour venir, études  
en Europe. C'est de sa part mon  
cher Monsieur Marx, que je vous  
remercie d'avoir en des lettres en-  
tre nous l'article de l'Allemagne et de  
vous avoir adressé à moi pour les  
éclaircir  
de vous touchant les Comités  
M., si j'attendais les nouvelles de  
vous, de vous avoir et surtout de  
notre ouvrage tout à vous  
P. Anshenkoff

30- Octobre 1846  
Paris.

АВТОГРАФ ПИСЬМА П. В. АНШЕНКОВА К МАРКСУ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 1846 г.

В ответ на запрос Маркса «Анненков разъясняет, что парижским агентом III Отделения, разоблаченным «Ausburger Allgemeine Zeitung», является не Григорий, а Яков Толстой»

Институт Маркса-Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б), Москва

Конечно, его писательские попытки, подобно всем прочим его начинаниям и замыслам, так и остались попытками, но не подлежат никакому сомнению, что из него мог бы выйти неплохой беллетрист.

Уже одна его близость к семейству Ивашевых, особенно к одухотворенной Елизавете Петровне, к той самой «Лизе» Языковой, перед которой так преклонялся Бакунин, доказывает, как глубоко неправы писатели, желающие изобразить его «диким помещиком», который в силу каких-то случайных причин затесался в среду, чуждую ему по культурному уровню.

В числе своих друзей и знакомых Григорий Михайлович мог бы назвать многих замечательных русских людей. Об этом свидетельствует, например, следующий отрывок из аксаковских воспоминаний о Гоголе:

«Через несколько дней, — повествует Аксаков, — а именно в субботу (1840), обедал у нас Гоголь с другими гостями, в том числе были Юрий Федорович Самарин и Григорий Толстой, давнишний знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидеть и познакомиться с Гоголем»<sup>39</sup>.

Познакомиться у Аксаковых с Гоголем было в ту пору не так-то легко: Аксаковы благоговейно охраняли его от нежелательных ему посторонних людей. И уже одно то, что Сергей Тимофеевич позволил Григорию Толстому прийти и сесть за одну трапезу с Гоголем, показывает, что Григорий Толстой был для старика Аксакова в достаточной степени своим человеком. На обеде присутствовал также граф В. А. Соллогуб, впоследствии прославившийся своим «Тарантасом», причем оказалось, что и с этим писателем Григорий Толстой находится в отношениях приятельских.

С Сергеем Аксаковым, он, как мы видим, был связан московским театром 20—30-х годов, с Соллогубом — дружескими встречами на берегах Черемшана, в Заволжье, где у матери Соллогуба было большое имение, Никольское<sup>40</sup>.

Свои чувства к Григорию Толстому В. А. Соллогуб через несколько лет выразил в стихотворном послании к нему:

Не говори, что я погиб  
В чаду столичных наслаждений,  
Что вновь мы дружно не могли б  
Быть чувствь одних и разных мнений<sup>41</sup>.

Словом, для этого молодого, красивого, образованного, богатого и знатного барина были открыты все двери и доступны любые знакомства и в Петербурге, и в Москве, и в Симбирске. В числе его близких друзей были и декабристы, и славянофилы, и западники, и актеры, и светские люди, и писатели, и революционные деятели. Увлечение московским театром — Щепкиным, Мочаловым, Писаревым — должно быть, доходило у него до подлинной страсти, если такой фанатик театра, как С. Т. Аксаков, мог увидеть в нем своего сотоварища. Какие драгоценные мемуары мог бы оставить нам этот человек, встречавшийся и с Гоголем, и с Сергеем Аксаковым, и с Некрасовым, и с Белинским, и с Загоскиным, и с Бакуниным, и с Николаем Языковым, и с Достоевским, и с великим множеством других выдающихся деятелей и переживший, хотя бы только в качестве стороннего зрителя, столько знаменательных эпох политического развития России.

Вот и все, что я знал о Григории Толстом, когда выступил в печати с утверждением, что именно он, а не Яков Толстой, встречался в Париже с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом<sup>42</sup>.

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Бакунин писал Лазарю Бернайсу <в марте 1844 г. в Париже>: «Милый Бернайс. Толстой хотел еще вчера пойти со мной к вам, но ему что-то нездоровится. Он просит вас сегодня вечером между 7 и 12 зайти к нему. Будут также Гервег, Маркс и компания»<sup>43</sup>.

И Арнольд Руге в своем письме к Кехли имеет в виду именно этого Толстого — Григория Михайловича, — когда пишет 24 марта 1844 г.: «Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела; русские: Бакунин, Боткин, Толстой (эмигранты — демократы, коммунисты); <немцы:> Маркс, Риббентроп, я и Бернайс; французы: Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер. В общем мы прекрасно столковались...»<sup>44</sup>.

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Карл Маркс писал через три года Георгу Гервегу (26 октября 1847 г.): «Я просил бы тебя узнать у Бакунина, каким путем, по какому адресу и каким образом я могу переправить письмо Толстому»<sup>45</sup>.

И Георг Гервег отвечал Карлу Марксу именно об этом Толстом, о Григории Михайловиче (3 ноября 1847 г.): «Адрес Толстого такой: Казань, Казанская губерния»<sup>46</sup>. (Таким образом, скажу в скобках, моя догадка о том, что это был казанский Толстой, подтверждается документальными данными).

Из всего этого явствует, что в течение трех лет (с 1844 по 1847 гг., а быть может, и дольше) Карл Маркс поддерживал какие-то отношения с этим казанским помещиком, участвовал вместе с ним в обсуждении политических вопросов, был у него в его парижской квартире (вместе с Фридрихом Энгельсом) и даже переписывался с ним.

И у Григория Толстого, очевидно, были все основания считать, что он пользуется некоторым доверием Маркса, раз он решился в 1846 г., уже находясь где-то на пути в Петербург, дать своему приятелю Павлу Васильевичу Анненкову рекомендательное письмо к Карлу Марксу и подписать его словами: «Ваш истинный друг».

Вот полностью текст этого письма (в переводе с французского), с которым Анненков явился к Марксу в Брюссель:

«Мой дорогой друг. Рекомендую Вам господина Анненкова. Этот человек должен понравиться Вам во всех отношениях. Достаточно увидеть его, чтобы полюбить. Он расскажет Вам обо мне. Не имею возможности в настоящее время высказать Вам все, что хотел бы, так как через несколько минут уезжаю в Петербург.

Примите уверения в искренности моих дружеских чувств. Прощайте и не забывайте вашего истинного друга Толстого»<sup>47</sup>.

Вследствие такой рекомендации Маркс, по словам П. В. Анненкова, «очень дружелюбно» принял его<sup>48</sup>.

Анненков добавляет при этом, вспоминая, несомненно, свой первый разговор с Марксом, неизбежно коснувшийся Толстого, что «Маркс находился под влиянием своих воспоминаний об образце широкой русской природы, на которую так случайно наткнулся, и говорил о ней с участием, усматривая в этом новом для него явлении, как мне показалось, признаки неподдельной мощи русского народного элемента вообще»<sup>49</sup>.

Казалось бы, что интерес, проявленный Марксом к Толстому, должен был побудить Анненкова пристальнее всмотреться в человека, который, по его же словам, «был искренен» в своем тогдашнем увлечении революционными идеями Маркса. Этого, однако, не случилось. Необходимо признать, что Анненков, который вполне справедливо считается одним из самых замечательных русских мемуаристов, — наиболее серьезным, талантливym, правдивым и вдумчивым, — в данном случае изменил своему

обычному стремлению к истине, обо многом умолчал, кое-что искажил и, в целом, дал не вполне объективную характеристику Григория Толстого именно той поры.

Сила Анненкова всегда заключалась в тонком умении изображать сложные и противоречивые черты человеческой психики, о чем свидетельствуют хотя бы его классические воспоминания о Гоголе. В данном случае он этой своей силой не воспользовался и написал о Григории Толстом те поверхностно ядовитые строки, на которые мы уже ссылались выше. Приводим эти строки полностью, так как уже одно то, что в них упоминается имя Маркса, побуждает нас возможно тщательнее проанализировать их.

«По дороге в Европу, — пишет Анненков, — я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассалья и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка в Европе, он едет обратно в Россию с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции.

Далее этого увлечение итти не могло, но я убежден, что когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен.

Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но все еще пылким холостяком в Москве»<sup>50</sup>.

Вышеприведенные строки Анненкова очень часто цитировались в разных статьях, посвященных многозначительной теме «Карл Маркс и русские люди». Но так как исследователи исходили из ошибочной мысли, будто в воспоминаниях Анненкова речь идет о Якове Толстом, нам приходится по-новому вчитываться в старье, всем известные строки.

Оставим в стороне мелкие неточности этой иронической записи. Григорий Толстой умер не в Москве, как утверждает Анненков, а в селе Левашове, Спасского уезда, Казанской губернии. Вернувшись на родину, он, вопреки утверждению Анненкова, сперва побывал в Москве, а уж потом воротился в деревню. Но дело, конечно, не в этих подробностях, а в том ироническом, неуважительном тоне, с каким Анненков третирует Григория Толстого, как некую разновидность ноздревского типа. У Анненкова получается довольно упрощенный образ лихого бреттера, тепшившего свои страсти картежной игрой, охотой, трактирными песнями, женщинами.

Может быть, все это было в Григории Толстом, но было, конечно, и многое другое, о чем Анненков почему-то предпочел умолчать.

Если бы Григорий Толстой был и вправду таким степным дикарем, каким изображает его Анненков, разве стал бы он сам, Павел Анненков, друг Белинского, Станкевича, Герцена, водиться с этим человеком, как с близким приятелем! А он знал Григория Толстого чуть ли не с самого раннего детства, бывал у него и подолгу беседовал с ним. Вернувшись из-за границы, после свидания с Марксом и Энгельсом, он продолжал поддерживать связи с Григорием Толстым. В его записных книжках, опубликованных Н. О. Лернером в журнале «Былое», есть, между прочим, такие заметки, относящиеся к 1849 г.:

«Летом объезжаю заволжских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других...». «В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбацкой лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернявским и прочими»<sup>51</sup>.



Да и не дал бы ему Григорий Толстой рекомендательного письма к Карлу Марксу, если бы не считал его, Павла Анненкова, близким человеком, единомышленником. И Анненков не воспользовался бы рекомендацией Толстого, если бы в то время питал к нему те язвительно-высокомерные чувства, с которыми стал трактовать своего старинного знакомого по прошествии тридцати с чем-то лет.

Подобно Ивашевым, Соллогубам, Языковым, Анненков был помещиком Симбирской губернии<sup>52</sup>. В тех пренебрежительных словах, кото-



#### НЕКРАСОВ

Рисунок карандашом П. Петровского, 1852 г.  
Институт литературы АН СССР, Ленинград

рыми он характеризует своего земляка, не чувствует, что этот «степной помещик» был один из просвещенных людей своего поколения, что он любил не только цыганские песни, но и квартеты Бетховена, не только карты, но и философские книги, что с ним беседовал и вел переписку Маркс, что он смолоду вращался среди лучших людей, какие только были в России.

Вопреки своему обычаю, Анненков искажил облик изображаемого им человека в сторону карикатуры и шаржа.

Но здесь нам необходимо отвлечься, хотя бы на самое короткое время, от Григория Толстого и напомнить читателю об одной неприятности, которая произошла с мемуарами Анненкова в 1880 г.

В ту пору в «Вестнике Европы» печатался его известный мемуарный труд «Замечательное десятилетие». Там он, между прочим, вспоминал о первых литературных шагах Достоевского. По его словам, Достоевский, помещая в «Петербургском сборнике» своих «Бедных людей», предъявил будто бы к Некрасову забавное требование, внушенное чрезмерным самомнением: поместить каждую страницу романа в особую типографскую рамку, в отличие от прочих повестей и рассказов, печатавшихся в том же альманахе.

«Роман и был действительно обведен почетной каймой», — заключил свое повествование Анненков<sup>53</sup>.

Его слова было нетрудно проверить. Взяли «Петербургский сборник» Некрасова, перелистали в нем «Бедных людей» и никакой рамки вокруг текста нигде не нашли. Роман Достоевского был напечатан Некрасовым без всякой «почетной каймы».

Дорого обошлась Анненкову эта кайма. В «Новом Времени» Буренин и Суворин поместили целую серию едких заметок, где называли утверждение Анненкова «глупою сплетнею», «явным журнальным вздором»<sup>54</sup>. Суворин обратился по этому поводу к самому Достоевскому. Достоевский ответил, что он «очень доволен» газетными заметками, где изобличается Анненков<sup>55</sup>. После этого в той же газете было напечатано следующее:

«Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас сообщить, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы», не было и не могло быть»<sup>56</sup>.

Конечно, Анненков не рассказывал бы этого анекдота о рамках, если бы он не был уверен, что рассказывает чистойшую правду. Ведь знал же он, что его сообщение легко поддается проверке. Когда он писал свои воспоминания (за границей, в Брюсселе и в Бадене), он был уверен, что рамки эти он видел своими глазами.

Он так и написал М. М. Стасюлевичу 19 апреля 1880 г.: «Не знаю, какой экземпляр был в руках оппонента моего из «Нового Времени», но знаю, что я сам видел первые экземпляры «Сборника» с рамками»<sup>57</sup>.

Все это, конечно, была аберрация старческой памяти. Впрочем, не следует думать, будто Анненков выдумал весь эпизод. Мы знаем из разных источников, что Достоевский действительно требовал каких-то типографских преимуществ для своих «Бедных людей». Не стали бы Некрасов и Тургенев упоминать об этой «почетной кайме» в известной своей эпиграмме (1847), не стал бы рассказывать о ней в своем фельетоне Панаев (1855), если бы для этого не было никаких оснований<sup>58</sup>.

Но память Анненкова сыграла с ним коварную шутку. Притязания Достоевского он принял за осуществившийся факт, и через три десятилетия ему стало казаться, что он сам был очевидцем того, о чем он только слышал от других. Он, так сказать, закруглил услышанный им эпизод, сделал его более эффектным, придал ему острую концовку. Это часто бывает с мемуаристами, имеющими вкус к беллетристике. Их услужливая память диктует им то, чего требует беллетристический канон.

То же самое произошло и с воспоминаниями Анненкова об отношениях Григория Толстого и Маркса.

Григорий Толстой интересовал мемуариста не сам по себе, а как одна из разновидностей того типа образованных русских дворян, о которых Маркс выразился в 60-х годах (имея, быть может, в виду и Григория Толстого): «Они <русские аристократы> всегда гонятся за самым крайним из того, что только дает Запад. Это — чистейшее гурманство»<sup>59</sup>.

Та глава анненковских мемуаров, где фигурирует Григорий Толстой, посвящена типологической характеристике именно этой категории русских дворян. По мнению Анненкова, эти «лишние люди» вели «казартную игру со всем содержанием Парижа» (то-есть с его передовыми идеями) и,

вместе с тем, «не выработали в себе никакой ответственности перед собственной совестью, никакого обязательного начала для устройства собственной жизни и поведения»<sup>60</sup>.

Григорий Толстой был, конечно, подходящей моделью для такого типового портрета. Но стремление Анненкова к «ярко типическому» (отмеченное в нем Щедриным) подсказало мемуаристу такие детали, которых не было в изображаемом им человеке. Эти детали были так правдоподобны, так резко обозначали характерный для данного социального типа разрыв между «словом» и «делом», между горячностью первоначальных порывов и быстрым охлаждением к ним, что Анненков соблазнился художественной их выразительностью и, быть может, вполне бессознательно допустил в своем повествовании об отношениях Карла Маркса и «степного помещика» несколько отклонений от подлинных фактов. Впрочем, все эти отклонения касаются одного единственного пункта. Остальные факты изложены правильно, в полном соответствии с истиной.

Григорий Толстой действительно говорил Карлу Марксу, что он хочет продать свои степные поместья. Это подтверждается рядом непреложных свидетельств. Прежде всего, сам П. В. Анненков сообщал Карлу Марксу в письме от 8 мая <1846г.>:

«Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. Нетрудно догадаться, с какой целью»<sup>61</sup>.

Когда Анненков писал это письмо, Толстого уже не было в Париже. Он вернулся в Россию. Через несколько месяцев Анненков в новом письме к Карлу Марксу упоминает снова об этом замысле Григория Толстого, как о таком факте, о котором Карл Маркс, несомненно, осведомлен.

Поводом для этого второго письма было следующее.

В ту самую осень, когда Григорий Толстой, вскоре после возвращения в Россию, проживал безвыездно в своей казанской глуши и занимался, как мы знаем, куплей-продажей зерна и вел деловую переписку с Некрасовым, одна из заграничных радикальных газет, «Ausburger Allgemeine Zeitung», разоблачила Якова Толстого как тайного агента петербургских жандармов. А так как парижские эмигранты не знали о одновременном пребывании в Париже двух разных Толстых, им естественно было подумать, что разоблачение относится к Григорию Толстому, тем более, что они звали его просто — Толстой, не принимая во внимание его имени-отчества.

Карл Маркс обратился за разъяснениями к Анненкову, и тот, извещая Маркса, что парижским агентом III Отделения был не этот Толстой, а другой, написал в защиту отсутствующего Григория Михайловича (30 октября 1846 г.):

«О боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который теперь в России думает только о том, как бы распродать все свои имения и поселиться в Европе! Благодарю Вас, мой дорогой Маркс, от его имени, что Вы усомнились, читая статью в «Allgemeine...», и обратились ко мне за разъяснениями»<sup>62</sup>.

И, наконец, у нас имеется третье свидетельство, исходящее от Фридриха Энгельса. В своем письме к Карлу Марксу (от 16 сентября 1846 г.), написанном еще в тот период, когда парижские эмигранты не знали о существовании двух разных Толстых и принимали Григория за Якова, Энгельс в понятном раздражении писал: «Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, навравший нам, что он хочет продать в России свои имения»<sup>63</sup>.

Эта резкая фразеология объясняется тем, что Энгельс в то время думал, будто речь идет о шпионе Толстом. Как бы то ни было, в этом письме заключается подтверждение того, что было сказано Анненковым: «степной

помещик» действительно говорил Марксу и Энгельсу, что он намерен распродать свои имения.

Но, стремясь к беллетризации своих мемуаров, Анненков присочинил от себя фантастическое «жерло революции», куда будто бы Толстой собирался, с одобрения Маркса, «бросить и себя и весь свой капитал». Здесь была дешевая протония, недостойная Анненкова: в ней слышалось неуважение не только к Толстому, но и к Марксу<sup>64</sup>.

На беду Анненкова, в числе тех языков, которые знал Карл Маркс, был также и русский язык. Маркс прочел в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1880 г. XXV—XXXI главы «Замечательного десятилетия» и здесь же на полях 496-й стр., против места, где говорится о безымянном «степном помещике», написал (подчеркнув в тексте слова: «Он уверил Маркса»):

«Ложь. Ничего подобного он <т. е. Григорий Толстой> не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе домой для вящего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой»<sup>65</sup>.

Эти энергичные строки отнюдь не зачеркивают всего повествования Анненкова о Григории Толстом. Напротив, они подтверждают его сообщения о встречах и беседах Толстого с Марксом. Не протестует Маркс и против утверждения Анненкова о «самых дружеских отношениях», существовавших в 1845 г. между «степным помещиком» и «будущим главой интернационального общества», так как слова эти находятся выше того текста, к которому относится опровержение Маркса. Равным образом, это опровержение не может относиться к тем строкам, где Анненков говорит о намерении «степного помещика» продать «все свои имения», ибо, как мы только что видели, Толстой действительно заявлял об этом Марксу и Энгельсу.

Так что возражение Маркса относится исключительно к тем строкам мемуаров Анненкова, где говорится о революционных стремлениях Толстого. Возникший у Толстого благородный «порыв» (как любили выражаться в то время) повысить благосостояние своих крепостных, употребив на это средства, вырученные от продажи имений, — черта социальных мечтаний, типичная для многих тогдашних дворян, принадлежавших к поколению Огарева и Герцена, — расширился в памяти Анненкова до масштабов практического служения делу европейской революции и водворения коммунизма в Европе. Против этого-то искажения истины и протестовал в своей записи Маркс.

Эта запись самым неожиданным образом снова возвращает нас к Некрасову, ибо в ней мы находим и подтверждение тому, что сообщает Авдотья Панаева, и реальный комментарий к тем страницам некрасовских «Трех стран света», где говорится о помещике Данкове, прототипом которого является Григорий Толстой.

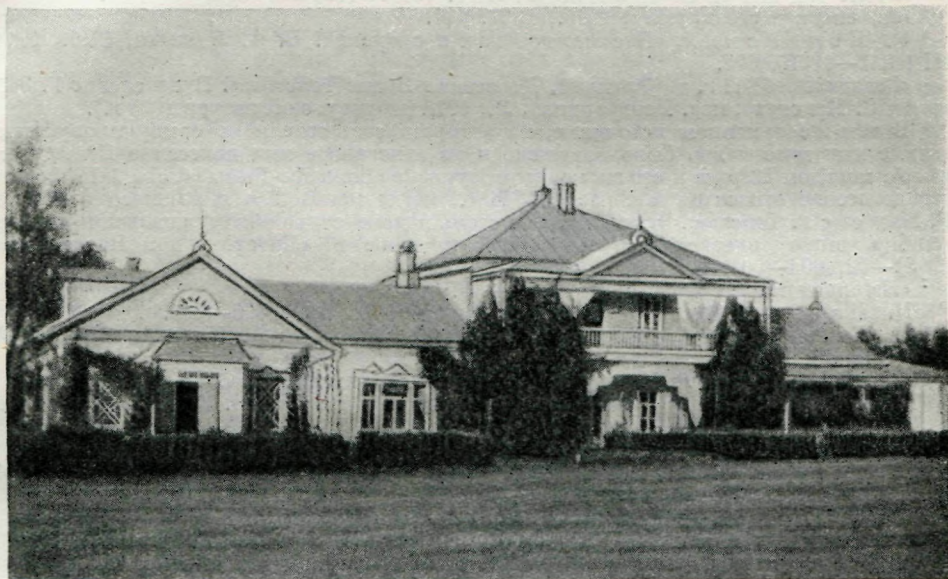
В романе Данков, как мы знаем, вернувшись из-за границы в деревню, решает, по выражению Некрасова, «пожить в своей губернии с самой благой целью».

Теперь эта «благой цель» приобретает, благодаря свидетельству Маркса, совершенно конкретное содержание: она заключается в том, чтобы, поселившись в деревне, приносить крестьянам наибольшую пользу.

И Авдотья Панаева в книге своих мемуаров, и Некрасов в «Трех странах света» сообщают то самое, что сказано в этой записи Маркса. Оба они видели Григория Толстого через несколько месяцев после его свидания с Марксом, и оба в один голос свидетельствуют, что он, действительно, пытался привести в исполнение те планы, которые незадолго до этого излагал, во время пребывания в Париже, великому своему собеседнику. Так, беглая запись Маркса, сделанная на полях русской книги, дает

нам возможность расшифровать подцензурные строки в одном из первых романов Некрасова.

Но, конечно, Григорий Толстой не был бы «лишним человеком», Агариным, «рыцарем доброго стремления и беспутного житья», если бы стал до конца осуществлять свои благородные планы. Проведя в качестве благодетельного помещика три-четыре месяца в своей усадьбе, он при первых же заморозках уехал в Симбирск, а в декабре 1847 г. действительно продал свое Ново-Спасское. Но у нас нет решительно никаких документов, позволяющих утверждать, что средства, вырученные от этой продажи, были использованы им для «вящего блага» крестьян. Думаем, что и в этом случае он остался верен себе.



ДОМ В КАЗАНСКОМ ПОМЕСТЬЕ Г. М. ТОЛСТОГО — СЕЛЕ НОВО-СПАСКОМ

По семейным преданиям потомков Г. М. Толстого, в этом доме в июне 1846 г. был решен вопрос об издании «Современника»

Фотография

Собрание К. И. Чуковского, Москва

Характерно, что в черновых набросках к своей «Саше» Некрасов первоначально хотел приписать ее герою, Агарину, именно такое внезапное охлаждение к «вящему благу» крестьян. В этих черновиках приехавший из-за границы помещик сперва проповедует самоотверженное служение интересам крепостного люда, а потом нарушает свои же собственные гуманные заповеди, — и за такую измену крестьянам любимая женщина отвергает его. В окончательной версии «Саши» этот мотив, в силу цензурных условий, всячески приглушен и затушеван, но в черновых вариантах отказ Агарина от служения народному благу выступает со всей очевидностью. Некрасов и здесь обнаружил глубокое знание этой породы людей.

\* \* \*

Уже одно то, что Григорий Толстой так или иначе, хоть на самое короткое время, вошел в соприкосновение с Марксом и Некрасовым, побудило нас возможно внимательнее присмотреться к нему, тем более, что и сама по себе его личность, столь выразительно характеризующая его среду и эпоху, не может не представлять интереса для историка русской

общественности. Недаром Некрасов вплоть до 70-х годов настойчиво возвращался к многообразным подобиям этого типа в ряде стихов и поэм. В созданной Некрасовым большой галлерее «рыцарей на час», «героев слова», Решетиловых, Агариных, Пальцовых, первое по времени место занимает именно Григорий Толстой, воплощенный в образе Данкова на страницах раннего романа Некрасова.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> П. Анненков, Литературные воспоминания, «Academia», Л., 1928, 478—479.
- <sup>2</sup> «Briefe von und an Georg Herwegh». Hrsg. von Marcel Herwegh, 1898, 89.
- <sup>3</sup> «Анненков и его друзья», СПб., 1892, 521.
- <sup>4</sup> В. Белинский, Письма, под ред. и с примеч. Е. А. Ляцкого, СПб., 1914, III (1843—1848), 472.
- <sup>5</sup> «Революция 1848 г. во Франции. Донесения Якова Толстого». Предисловие Г. Зайделя и С. Красного, изд. Центархива, Л., 1926 (на титуле обозначен 1925 г.).
- <sup>6</sup> В том же архивном источнике, из которого составители почерпнули опубликованные ими материалы, было помещено и не замеченное ими донесение Якова Толстого о молодом Марксе и его знаменитом журнале «Deutsche-Französische Jahrbücher». Это донесение относится как раз к 1844 г., когда произошла и парижская встреча К. Маркса с Г. Толстым. Этот документ, столь красноречиво обнаруживающий грубую ошибку автора предисловия, опубликован ныне в «Литературном Наследстве», № 31—32, 604—605.
- <sup>7</sup> «Легописи марксизма» 1928, VI, 41—42.
- <sup>8</sup> И. Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1929, 403—404.
- <sup>9</sup> В. Белинский, Письма, под ред. и с примеч. Е. А. Ляцкого, СПб., 1914, III (1843—1848), 100.
- <sup>10</sup> «Воспоминания В. А. Панаева». — «Русская Старина» 1901, CVII, 491.
- <sup>11</sup> Авдотья Панаева, Воспоминания, под ред. и с примеч. Корнея Чуковского, Л., 1927, 209.
- <sup>12</sup> См. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 164.
- <sup>13</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.—Л., 1929, XXI (Переписка), 4, 23, 28, 32—35, 41, 47—50, 52 и т. д.
- <sup>14</sup> Герцен в то время еще находился в России.
- <sup>15</sup> «Из воспоминаний Карла Грюна о Бакуanine». — «Голос Минувшего» 1913, I, 186.
- <sup>16</sup> В 1928 г. известный знаток казанской старины В. П. Ильин прислал мне, по моей просьбе, «Сведения о Григории Михайловиче Толстом, полученные от правнучки его», Е. А. Казембек, и там, между прочим, сказано: «Сделавшись самостоятельным владельцем своего состояния, <Толстой> вместе с братом Владимиром проживал большей частью за границей — преимущественно в Париже...». «Брат Григория Михайловича — Владимир был женат на крестьянке...».
- <sup>17</sup> А. Корнилов, Годы странствий Михаила Бакунина, Л.—М., 1925, 283—284.
- <sup>18</sup> О. Буланова, Роман декабриста, М., 1925; М. Беляев, От ареста до ссылки. — Сб. «Памяти декабристов», Л., 1926, II, 5—50.
- <sup>19</sup> А. Корнилов, цит. соч., 89.
- <sup>20</sup> Там же, 283—284.
- <sup>21</sup> Вот полностью эта автобиографическая запись Некрасова: «Летом 1846 года я гостил в Казанской губ. у приятеля своего, помещика Григория Матвеевича (?Михайловича) Толстого; он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом. Жили мы с ним в бане и, сидя на балконе, часто беседовали о литературе. В соседстве приехал Панаев с семьей, у него было там имяне. Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 р. свободного капитала, Толстой обещал ссудить также 25 000 р.» (см. в настоящем томе: «Автобиографии Некрасова», 164—165).
- Оговорка Некрасова в наименовании Толстого любопытна тем, что присваивает ему отчество Данкова из романа «Три страны света». Моя догадка, что Григорий Михайлович Толстой выведен Некрасовым в образе помещика Григория Матвеевича Данкова, получает, тем самым, дополнительный аргумент.
- <sup>22</sup> «Волжский Вестник» 1887, № 338.
- <sup>23</sup> В. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50 гг., Л., 1934, 38.
- <sup>24</sup> Там же, 39.
- <sup>25</sup> Там же, 39—40.
- <sup>26</sup> А. Корнилов, цит. соч., 288.
- <sup>27</sup> Н. Некрасов, Собр. соч., М.—Л., 1931, V, 126.
- <sup>28</sup> Корней Чуковский, Рассказы о Некрасове, М., 1930, 186—190.
- <sup>29</sup> Н. Некрасов, Собр. соч., М.—Л., 1930, IV, 263.

<sup>30</sup> «Воспоминания В. А. Панаева». — «Русская Старина» 1893, XII, 543.

<sup>31</sup> «Русская Старина» 1890, XI, 338.

<sup>32</sup> Н. Некрасов, Собр. соч., цит. изд., IV, 362—363.

<sup>33</sup> Там же, 294.

<sup>34</sup> В черновом автографе «Саша» то же слово «морочит» применяется к Агарину: «Как он морочит...» (ЛБ, рук. отд., М/5764).

<sup>35</sup> В. Соллогу́б, Воспоминания Л., 1926, 235.

<sup>36</sup> Матерью Григория Толстого была крепостная «девка» Авдотья, и довольно долго он числился ее незаконнорожденным сыном. Лишь на десятом году его жизни отец его, отставной майор Михаил Львович Толстой, женился на этой Авдотье, и она стала Евдокией Савельевной. И лишь в 1825 г., уже юношей, он был узаконен «высочайшим» указом. С самого раннего возраста в радушном семействе Ивашевых он чувствовал себя лучше, чем в отеческом доме. Декабрист Василий Петрович Ивашев относился к нему, как к своему младшему брату. Отец декабриста, Петр Никифорович Ивашев, богатейший помещик Симбирской губернии, генерал-аншеф, сподвижник Суворова, приходился ему по жене родным дядей. Дочери этого большого симбирского барина были выданы за именитых заволжских людей: одна — за Языкова, другая — за князя Хованского, третья — за гвардии штабс-капитана Ермолова, и Григорий Толстой, или, как все они звали его, Грегуар, на правах близкого родственника, чувствовал себя своим человеком в их симбирских (и казанских) усадьбах.

Все эти столбовые симбирцы были для Грегуара Толстого кузинами, дядями, тетками и по-семейному любили его. Его родословная была истари связана с историей Симбирска: его прадед по отцу, Борис Толстой, был при Екатерине II воеводой «Симбирской провинции». Его дядя, тайный советник Александр Васильевич Толстой, был симбирским губернатором при Павле. (П. Мартынов, Город Симбирск за 250 лет его существования, Симбирск, 1898, 368, 383).

Знаменитые Ундоры, симбирское имение Ивашевых, в XVIII столетии было толстовской вотчиной. В одном из своих неизданных писем к сестре декабриста, княгине Хованской, Григорий Толстой говорит, что для него приехать из Казани в Ундоры — это все равно, что вернуться с чужбины в отчину.

Вот отрывок из неизданного французского письма той же княгини Хованской к ее брату, декабристу Ивашеву (от 28 августа 1835 г.), посланного ему из Симбирска: «Вот уже два дня, как мы наслаждаемся обществом моего кузена Грегуара Толстого, который прогостит у нас еще несколько дней. Он привоз с собой одного молодого человека, чудесного музыканта» и т. д. (ЛБ, рук. отд., М/5783).

Вся эта симбирская знать очень близко принимала к сердцу дела и поступки «Грегуара» Толстого. В 1834 г. генеральша Ивашева пишет сыну-декабристу из Симбирска: «Вот еще новость, которая доставит тебе удовольствие: Грегуар Толстой женится в ближайшее время. Его невеста Екатерина Языкова, прекрасная, как день, и очень умная, — и он такой очаровательный молодой человек...» (ЛБ, рук. отд., М/5786).

<sup>37</sup> «Русская Старина» 1890, XI, 327—351.

<sup>38</sup> См. письмо Бакунина к брату Павлу от 29 марта 1845 г. в цит. кн. А. Корнилова, 282—284.

<sup>39</sup> С. Аксаков, Мое знакомство с Гоголем. — Полн. собр. соч., II, 1886, III, 342—343.

<sup>40</sup> В. Соллогу́б, Воспоминания, М.—Л., 1931, 229—233.

<sup>41</sup> Иными словами: пусть ничто не мешает радикалу Толстому питать самые дружеские чувства к такому блестяще реакционных идей, каким заявил себя В. А. Соллогу́б. Стихотворение Соллогу́ба кончается так:

Где б мы ни встретились с тобой,  
В Париже шумном, в теплой Ницце,  
В Симбирске, нам стране родной,  
Иль в нашей чопорной столице,—  
Мы, повинуюсь судьбе  
И нами избранному кругу,  
Все будем верными себе,  
Все будем верными друг другу...  
Крепясь душевной простотой,  
Сомненьем не тревожась грубым,—  
Ты — всюду тот же будь Толстой,  
Я — буду тем же Соллогу́бом.

(«Сочинения В. Соллогу́ба»,  
СПб., 1856, IV, 559).

<sup>42</sup> Мое утверждение было, как сказано выше, встречено с большим недоверием, но теперь оно уже ни в ком не вызывает сомнений. Так, в алфавитном указателе к I тому «Переписки Маркса и Энгельса» (Собр. соч., т. XXI), вышедшему в 1929 г., сказано: «Толстой Яков Николаевич, граф (1791—1867), на дипломатической и политической службе в Париже, 34, 35, 41, 42, 61». А уже в IV томе той же «Переписки», вы-

шедшем в 1931 г., в общем указателе о том же самом лице напечатано с указанием тех же страниц: «Толстой, Григорий Михайлович (1808—1871), казанский помещик, один из русских приятелей Маркса и Энгельса в 40-х годах, I, 34, 35, 42, 61».

Таким образом, гипотеза о Григории Толстом уже вошла в научный обиход в качестве достоверного факта.

<sup>43</sup> Архив ИМЭЛ.

<sup>44</sup> Там же. Ср. «Летописи марксизма» 1928, VI, 47. Подлинник — по-немецки.

<sup>45</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., XXV, 36—38.

<sup>46</sup> Архив ИМЭЛ.

<sup>47</sup> Там же.

<sup>48</sup> П. Анненков, Литературные воспоминания, Л., 1928, 479.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Там же, 478.

<sup>51</sup> П. Анненков. Две зимы в провинции и в деревне.—«Былое» 1922, 18.

<sup>52</sup> Там ему и его многочисленным братьям принадлежало село Чириково (Чирьково тож), а также село Павловка, деревня Иевлево, деревня Моревна (П. Мартынов, Селения Симбирского уезда, Симбирск, 1903, 157—161). Характерно, что он называет Толстого «нашим степным помещиком», то-есть причисляет его к своим землякам, к симбирцам. По уездной табели о рангах в 30-х и 40-х годах Григорий Толстой, как один из «ивашевцев», стоит гораздо выше, чем Анненков.

<sup>53</sup> «Вестник Европы» 1880, апрель, 479.— В позднейшем отдельном издании воспоминаний Анненкова эта фраза отсутствует.

<sup>54</sup> «Новое Время» 1880, №№ 1473, 1499, 1500, 1510 (от 4 апреля, 5, 6 и 16 мая).

<sup>55</sup> «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, 50.

<sup>56</sup> «Новое Время» 1880, № 1515 (от 21 мая).

<sup>57</sup> М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», СПб., 1912, III, 384.

<sup>58</sup> См. мою статью «Плеяда Белинского и Достоевский» в кн.: Н. Некрасов, Тонкий человек», М.—Л., 1928.

<sup>59</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 1932, XXV, 534 (письмо Маркса к Л. Кугельману от 12 октября 1868 г.).

<sup>60</sup> П. Анненков, цит. соч., 476.

<sup>61</sup> Архив ИМЭЛ. Ср. «Летописи марксизма» 1928, VI, 46. Подлинник — на французском языке.

<sup>62</sup> Там же.

<sup>63</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 1929, XXI, 34—35.

<sup>64</sup> Вообще во всем этом знаменитом фрагменте анненковских воспоминаний есть оттенок фальши: здесь Анненков почему-то скрывает свои подлинные отношения не только к Толстому, но и к Марксу. Его отношения к Марксу, как мы знаем из его переписки, были благоговейно почтительны, но на страницах «Вестника Европы»,— быть может, в угоду либеральной редакции этого органа,— к почтительности примешивается какой-то наигранный иронический тон.

<sup>65</sup> Приведем подлинный (французский) текст пометки Маркса: «C'est un mensonge! il n'a dit rien de la sorte. Il m'a dit au contraire qu'il retournerait chez lui pour le plus grand bien de ses propres paysans; il avait même la naïveté de m'inviter d'aller avec lui...». «Русская Мысль» 1903, VIII, 63.